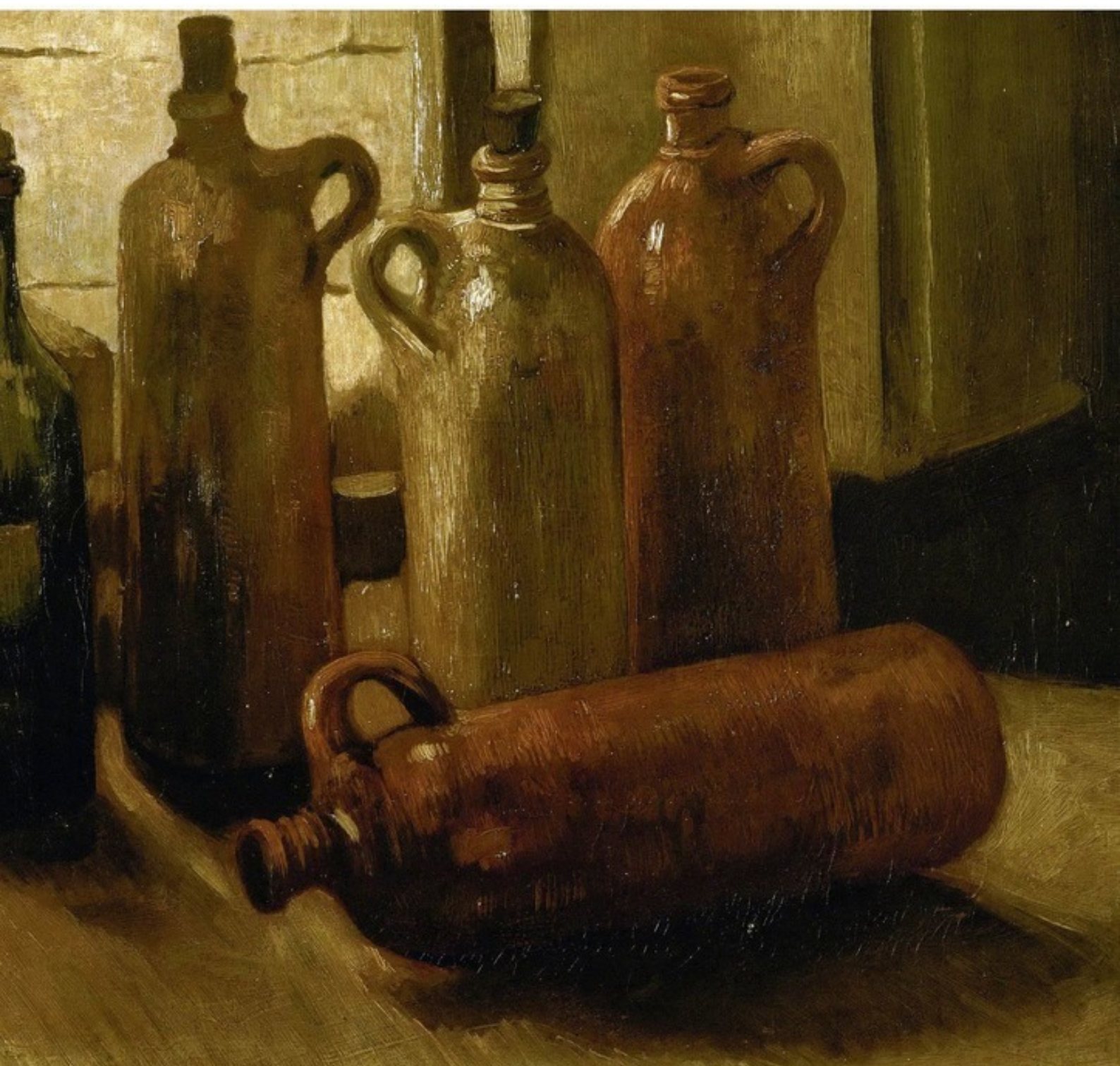


Олег Мраморнов

Записки и записи



Олег Мраморнов
Записки и записи

«Издательские решения»

Мраморнов О. Б.

Записки и записи / О. Б. Мраморнов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-964150-2

Олег Мраморнов — очеркист, историк литературы, автор стихотворных сборников, переводчик Петра Негоша. Его записки охватывают период с рубежа шестидесятых — семидесятых годов прошлого века до недавнего времени. Поначалу носящие локальный характер, записи в дальнейшем тесно касаются событий и вопросов общественной и культурной жизни страны.

ISBN 978-5-44-964150-2

© Мраморнов О. Б.
© Издательские решения

Содержание

Из случившегося в жизни	6
Большая вода	6
Прощание на холмах	10
Сгоревший дневник	19
Отрывок	26
Осень 1973 года	26
В подвале Мастера	31
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Записки и записи

Олег Борисович Мраморнов

© Олег Борисович Мраморнов, 2019

ISBN 978-5-4496-4150-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Из случившегося в жизни

часть первая

Большая вода

Весна 2018 года принесла большую воду. Её не было несколько лет. И вот рыбаки, как то бывало и в мои юные годы, ставят лодки чуть не под крыльцом дома, где я живу. С середины апреля и на весь май жители правобережной части будут в затруднении сообщения с противоположным берегом: на лодке не пристать, а паромной переправы у нас не стало в девяностые годы, когда всё останавливалось. До ближайшего парома теперь нужно ехать двадцать километров. Однако полнейшей водой довольны: без паводков Дон мелел, не наполнялись озёра, не заливались луга, не находила где нереститься рыба, любящая почесать бока о луговую траву...

Переправа у нас существовала все необозримые дореволюционные времена, а по сводкам гражданской войны у кременской переправы отмечались сильные вооружённые стычки. В 1942 году, при наступлении немцев, переправа активно использовалась для эвакуации техники и скота.

Мои прежние приезды в родные места заканчивались этой переправой – созданный местными умельцами причал, песчаный пляж слева от парома, где я влюблялся в приезжую девочку. Когда я прибывал на студенческие вакации, меня обычно встречали. В отсутствие переправы уже никто не помашет рукой с того берега, не прокричит на прощание напутственных слов...

Но и паром не всегда мог выручать. Во время больших разливов вода скрывала причал, и паром отгоняли в тихую гавань на вынужденный простой. Вместо него машины и людей переправляла амфибия, пока была на ходу. Замечательное изобретение инженерной мысли, амфибия смело пересекала водное пространство, нащупывала устойчивый левый берег и, распугивая диких уток и фазанов, с хрустом подминая гусеницами придорожный кустарник, выползала на сухую часть дороги, куда подходил автобус.

Если не было ни парома, не амфибии, то меня могли переправлять на лодке по полнейшей воде, но в том случае, если она была не такой уж большой, и на левом берегу было где пришвартовать плоскодонку. Не раз я плыл весной на лодке со стариком-соседом, с которым с детства был запанибрата. То был по своему тощему виду и измождённому лицу с жидкой седой бородкой вылитый Дон Кихот – только украинско-польского происхождения, сошедшийся после смерти жены с одной местной тёткой и переселившийся в наши места. Он до глубокой старости мог работать вёслами, играл на медной трубе, расписывал пулюку, водил собак и кошек, а перед смертью, уединившись в отдалённой хате, завёл учёного козла Махно. Вот бабушка и мать бегают по берегу при опасной погоде, голосят, взмахивают руками, а искатель приключений Валерьянович твёрдо держит нос против волны и не даёт баркасу встать бортом к белым бурунам.

Моими последними перевозчиками были троюродный брат, наивный сельский человек, так и не сумевший постареть до своих пятидесяти пяти лет, и последний патриархальный станичный казак, которому перевалило за восемьдесят. Брат трагически погиб, а патриарх считает себя обманутым, как и весь трудовой народ, но всё ещё находит по гаражам и сараям запчасти для старенького трактора «Беларусь», заводит его, тархтит и выезжает с база в сторону реки. Уже года три он не перевозит меня на своей лодке – постарел. Да и я не машу руками с противоположного берега, потому что туда давно не подходит рейсовый автобус, а пользуюсь автомобильным транспортом и переправой в Новогригорьевке.

Больше всего на свете я жалею не об исчезновении нашей переправы с её надёжным толстым железным тросом, а о конце патриархального народа. Как бы мы ни надували щёки, с исчезновением народа Россия уже не та. Никогда не вернётся Русь, уход которой мы пережили.

...

Люблю воду, хотя смывает следы, всё куда-то уносит. Смотришь: и бережок смыло, и травы-муравы нет – вместо неё камыш, а вместо белого песка – ил. Люблю немолчную воду. Как реки струятся. Плотинка в излучине оголится, отступя от бережка, и меж склизкими замшелыми камушками и крутым сыпучим берегом струится, журчит, играет вода. Водный поток сравним с текучим временем, но полного тождества нет. Хотя реки, протекающие в пространстве, и напоминают о времени – они длиннее его. Время лишь одна из характеристик пространства, время нематериально. Когда времени не станет, откроется другой простор, где тоже льются и журчат реки.

Это было давно. Я шёл осенним лесом в пойме, где лес растёт от реки и до подножия выгоревших диких скатов известковой Восточно-Донской гряды. Река извилистая, то и дело выгибается. Большая, Малая – это основные излучины, а вообще, не сосчитать. Одна такая излучина описана в «Тихом Доне», где река «будто заворачивает вправо, и возле хутора Базки вновь величаво прямится». Я огибал другую излучину, двумя сотнями километров ниже по течению. Прежде я много раз бывал в этом лесу, но не один, а родственной артелью, компанией. По влажной осенней погоде мы искали в тополях, вербах, ясенях, осинках грибы – шампиньоны-пачерики, подгруздки, подосиновики, белые, и бодро перекликались наши голоса. Голоса умолкли, их время прошло, я больше не услышу их. Неподалеку, на озере, мальчишкой я помогал косить чакан для бабушкиной хаты. Отъехал на лодке на середину озера. Чистейшая вода. Видно дно. На дне блестит золотом то ли большая монета, то ли медаль. Просматриваются контуры, рисунок. Скифское или хазарское сокровище, не знаю, не знал тогда ни про хазар, ни про скифов. Надо было достать, но глубоко, змеи, водоросли, илистое дно. Я испугался нырнуть. Как раз близ того озера через несколько лет мы застряли на грузовике. В тот год я закончил среднюю школу, нигде не учился и не работал. Шла перепись населения, и мне доверили стать переписчиком. До переписывания надо было ходить по дворам, делать предварительные опросы. Я ходил. Однажды с опросными листами заехали в совсем глухой посёлок при разрушенном Кременском Вознесенском монастыре, в двадцатые годы преобразованном в детскую колонию, а потом в дом инвалидов. В обшарпанных монастырских кельях – хроники, страдающие душевными недугами и беспамятством. Некоторые не помнят ни имени, ни фамилии, ни отчества, ни места и года рождения. Возникают запинки. Безымянным даются имена, проставляется примерный возраст. Тоже жители страны, подлежащие учету. На обратном пути мы застряли. Водитель ругается, пробует вывезти машину. Никак. Стоим при закатном кроваво-красном солнце, а справа выгоревший, зловеще жёлтый, угрюмо шелестящий на зимнем ветру камыш. Смеркается. Сквозь волнистые туманы пробирается луна. Мотор заглох. До селения вёрст пять. Тащимся ночью в зимнюю ростепель пешком. Слева – угрюмые контуры бугров с волчьими балками. Бурое пространство в снежных проплешинах. Ночь, дичина, свобода. В этом пограничье я дорос до восемнадцати годов. Переписчик. Мне немного заплатили от местной администрации. Я накупил книг.

...Стоял ясный безветренный осенний день. Листья, в массе ещё зелёные, висят бездвижно, и ветер не играет их изнанкой; светит солнце, сияет голубая лазурь неба, воздух чист и прозрачен так, как прозрачен он лишь в погожие осенние дни. Не самая поздняя осень, но солнечный диск обескровлен, в нём не достаёт буйства красок, и, что более всего поражает, не слышно и не видно птиц: ни одна из них не вспорхнула, не задела крылом листьев, не черкнула по неподвижному воздуху. Где они? Не видно не только распластанного в небе коршуна или ярко раскрашенного, стремительного в полёте шура – ни вездесущих ворон, ни крикли-

вых сорок, ни даже воробьёв. Заснули насекомые, не кружатся в воздушном танце бабочки, не шуршат в сухих листьях юркие ящерки. В дорожной пыли истлевают раздавленные колесами машины узкое тельце маленькой чёрной змейки. А её живые сородичи? спрятались в убежища? Почему так рано, до Воздвижения? Какое омертвевшее пространство. И я пошёл к реке напрямик, через валежник, кустарники. Зеленоватая у берега, серебристой фольгой блеснула вода. Она колыхала камыши и осоку, свесившиеся ветки краснотала и ивы. Притаившись, я услышал перешёптывание струй, тихое согласное пение. Пространство жило в потоке. В лесу оно застыло, а здесь было живым. Вот бухнулась в воду лягушка, из остролистных травяных зарослей вылетела синяя стрекозка, плеснула рыба. По пути назад запорхали лимонницы, затенькала птаха, и даже лиса показала рыжий хвост. Пошли пойменные огороды, левады, обнесённые полусгнившими плетнями с кривыми жердинами, с сухими будыльями кукурузы, с серыми бугорками тыков. Показались люди, которых я пытался узнать в лицо: в юности я многих знал, но время уходит вместе с людьми. Теперь лишь пространство будило память.

Да, время уходит. Остаётся пейзаж. Река и степь. Безбрежная степь возвышенного донского правобережья, простроченная внизу извилистой каймой Дона. С правобережных холмов открывается неоглядный вид на Задонье, где за полосой пойменного леса видны лоскутки озёр, желтеют проплешины песков. Лучше всего смотреть на Дон с возвышенности: где-нибудь у монастыря, у Перекопки или у Клетской открывается обширнейший кругозор. Да и сами холмы поражают разнообразием своих возвышений и обрывов, долгими подъёмами и спадами. Куда ни пойдёшь, ни поедешь – степь и степь, разветвления дорог, прошвы лесопосадок, деревца в низинках, кряжистые массивы земли, увалы и курганы, лога и балки. Посреди каменистой степной шири – пахотные поля, орлы-курганники, коршуны и ястребки, пролетают белые гагары и цветные гуси. Ближе к Дону – многоцветие лугов, вкрапления южного леса. Летом здесь чувствуется сладкий медовый запах, а со степи доносится горьковато-полынный, шалфейный. В лесу – тополя, вербы, дубы, клёны, осины, яблони и груши, тёрны. Растёт серебристый лох. Его белесоватые с бархатистой шкуркой и с большой косточкой вяжущие ягоды птицы не склёвывают до морозов. После морозов ягоды начинают немного сладить.

Дон в излучине, по которой я шёл, течёт на северо-восток, в совсем пустынные места: с песками, бурунами, солонцами. По правому берегу – полоса леса до гряды высоких, изрезанных балками холмов. По левому – заливные луга, тальник, дальше дубровы, кончающиеся песками. Много озёр, крупных и глубоких. Зимой, в прежние годы, мы ходили на озеро Яры – километров семь или больше. Красновато-рыжие, без инея, донские вербы и талы, проплешины в неглубоком снегу, из-под которого торчат толстые репейники, могучие сизые двухметровые коровяки, жёлтая остролистая трава. Долбили меж высоких песчаных берегов лунки во льду, пытались ловить – больше крупного окуня или красноперки мало что попадалось. А хотелось линя или леща. До революции и при НЭПе озёра сдавались в частное пользование. Тогда их чистили, протаскивали неводом и бывали большие промысловые уловы: сазаны, лещи, щуки.

Великолепно зрелище поднимающейся на несколько метров воды. В низинных местах поймы вода разливается на километры, вплотную подходит к окраинным домам хуторов и станиц, к их хаткам со ставнями. К началу мая останавливается и начинает сбывать. Пришедшая на икромет рыба во множестве попадает в сети. Рыбнадзор гоняет. Сети бросаются. Я не раз видел, когда рыбы было особенно много, как она висит на кустах в брошенных сетках белыми лоскутами, подвываясь на солнце. Запахи рыбы, рыбной чешуи. К концу мая появляется мошка, заливаются лягушки, ухают бычки. Тёрны и яблони цветут прямо в воде. Испарения смешиваются с запахами цветения, и ветер относит запахи далеко-далеко в степь. В бескрайнюю дику степь, где мы не раз блуждали пешком и на колесах, теряя ориентир, ночуя у костров на высоких холмах.

Придонский пейзаж лишь иногда жёсток в возвышенной части степи, где по отвесным склонам балок выходят наружу каменные породы и видны окружины волчьих нор. Но куда больше волнистых кудрявых балочек. По желтовато бурому окрасу в конце лета пейзаж напоминает плоскогорья и долины Крита, где мне доводилось бывать. В степи великое изобилие трав, цветущих с апреля лазоревыми цветками – тюльпанами, голубыми и жёлтыми ирисами, а потом выпускают свои соцветия шалфей, железняк, ромашки, пижмы, тысячелистники. К Троице голубеет стелющаяся вдоль дорог и по балкам богородичная трава – донской чабрец, чобор.

Степь всё та же: величественная, бугристая – незыблема. Её мощные холмы-увалы напоминают шишковатое темя земного шара. А вот *реки проходят*, говорил странствующий философ Сковорода. Так ли? Река – это течение, не знающее конца. Река соединяет собой времена. В ней заключён смысл вечного движения, победы над статикой. Она будет жить и отдельно от нас. И мне иногда ужасно хочется поспорить со Сковородой по поводу того, проходят ли реки.

Прощание на холмах

Холмы, всхолмлённая местность. Что может быть лучше? Разве что море. Но холмы не уступят. Взять чешские холмы – волнующий глаз и сердце вид. Заросшие лесом, озарённые утренним солнцем, гаснущие в закатной дымке, плавные и волнообразные, наплывающие и удаляющиеся из глаз холмы Западной или Северной Богемии. На них оставил частицу своего недолго бившегося сердца мой брат. Он жил на этих холмах, поднимался на высокий Йештед, с которого виден северный чешский край, Лужицкие горы, Либерец, а ещё дальше Германия и Польша.

С жизнью прощаются на холмах. Этот момент уловил Райнер Рильке в восьмой из «Дуинских элегий». Повадка и взгляд человека у него взяты в прощальном жесте с холма, а сама жизнь представлена как вечное с ней расставание:

*У нас повадка человека, что уходит,
как будто стоя на холме,
откуда нам в последний в жизни раз
вид приоткрыт на всю её долину,
мы медлим, обернувшись к ней, – и в этом
вся наша жизнь – с ней вечное прощанье.*

(переложение Веры Тарзаевой)

Мотивы многих стихотворений уроженца Богемии Рильке развивают сакральные тексты, а в этот стих как будто вписан 17-й псалом: *И изведе мя на широту, избавит мя, яко восхоте мя...* А дальше так: *Совершаяй ноге мои, яко елени, и на высоких поставляяй мя...*

Лёгкие и быстрые, как у оленя, ноги дал Господь человеку, чтобы тот брал ими высоту, – и человек движется, покоряя пространство. Сильные ноги возносят его на холмы, откуда он смотрит вниз на широкую долину жизни. А Господь в это время призывает человека к Себе, берёт Своё.

Гряда высоких холмов полукругом обрамляет и замыкает русло Дона в Кременской излуине Дона. Безлесые лысые холмы, но в этом их преимущество – их шишаки оголены и выразительны, как стриженная наголо человечья голова. Очертания этой гряды напоминают мне залегшего над рекой огромного доисторического зверя, уснувшего дракона. Через холмы, по одному из увалов, вьётся дорога из селения. На склоне этого увала мы постояли с братом в последний раз у деревца – серебристого лоха, по-нашему дерезы, и он поехал вместе с женой на своей машине в областной город. Я стоял и махал рукой. Вот машина вынырнула из лошинки, вот поднялась по засыпанной щебнем дороге, вот перевалила через возвышенное место и скрылась из глаз.

– А ты возвращайся не по дороге, а по степи, вон на ту горку поднимешься, оттуда ещё лучше вид, там и спустишься вниз, там есть тропинка, – были его последние слова, обращенные ко мне.

Он имел обыкновение подсказывать мне пешеходные маршруты в нашей местности, которую хорошо знал. И я пошёл, как он посоветовал, то есть спустился в долину.

Своими лёгкими сухими ногами брат изведаль все наши дороги и тропинки. Он знал на ощупь подъёмы, спуски, скаты, курганы, буераки, балки. Был великий патриот степи, воли, простора, коня. Жалел, что не выучился рисованию и нет поблизости живописца, который запечатлел бы наши места. Сам он запечатлевал жизнь метким словом, речевым оборотом. Он не писал произведений, считая, что всё уже давно написано, довольствовался устной речью.

Это намного продуктивнее писательства – учить через речь, быть учителем. Пока мы стояли на холме, он обвёл глазами открывавшуюся внизу долину – зелёную лесную пойму, блестящую серебром излучину, лоскутки озёр. Сделал широкий, охватывающий всю долину жизни, жест рукой. «Вон Духовское озеро, вон Летонское. Там хутора были: Летонский, Духовской, Благодатный. Раз люди так называли, значит, радовались местоположению».

Радовались и местоположению, и воле. Что значит для русского человека воля, стремление удержать её, дружить с ней? – Волей, в борьбе за жизнь и её осуществление одолеваем мы судьбу и рок. Вырываем жизнь у неволи *удалью жизненной энергии*, как говорил поэт. Мой брат был удалым добрым молодцем – в значительно окультуренном варианте, но именно *удальным и добрым*. Он был смелый, весёлый, сильный человек, рождённый и проживший жизнь посреди бескрайних степей, впитавший в себя дух простора, риска, удачи и гибели. Прежде, пока он жил в станичном доме, мы с его крыльца часто вглядывались в холмы, в молодую зелень их травы, в бурый осенний окрас, в зимние проплешины. Холмы волновали нас волнистостью, курганами и спадами. Для него это была земля, отвоёванная предками. Так называемый «казачий присуд» – вырванное донцами у московских царей жизненное пространство.

Брат ощущал себя родовым казаком, каковым и был. Как потомок кременского атамана XVIII века Ерофея Козловцева, он стал делегатом первого учредительного казачьего съезда. Но как возможно учредить казачество на городских съездах, если оно возникло из степного простора...

...

Лето 2014 года, с его настоящей донской жарой, началось с Петрова дня. Накануне мы похоронили его. Солонцовая тяжесть земли легла на домовину. Копачи сбрасывали в подземный дом камня и утверждали, что так будет лучше – могила меньше осядет. Когда двинулись к поминальному столу, над холмами начинало клубиться послеполуденное марево, куда ушли пасшиеся у церковной ограды кони; при жизни он хотел оседлать всех, но этих не успел. А вечером, на закатной лазури, отчётливо красовались силуэты наших кипарисов – пирамидальных тополей.

С незапамятных лет брат был самым близким мне человеком, никем и никогда не заменимым другом, советчиком. Вместе мы выросли, в одной местности, в одном кругу лиц и общения; в пустынных малолюдных местах всё говорили и говорили. Разъезжались, собирались, снова спорили. Иных людей, с которыми можно говорить обо всём на равных, у нас в селении не осталось. Отголоски этих разговоров – во мне. Когда я начну забывать дерзкие речи своего брата, начнётся самое мучительное.

Исходя из родового, мы проникаемся жаром к отчизне. Игорь тосковал по России и любил её всю, и прежнюю, и нынешнюю – такой, какой дал Бог. Любил и неудачливой, и поруганной, и не слишком доброй к своим детям. Он нахватал много шишек в родных осинах. Но всегда он переживал за Россию, всегда она его волновала. Казаки любят *свою Россию*. Не абстрактную империю, которую защищали по долгу службы, а свою донскую родину, которую отвоевали у дикой степи. Есть прекрасная домонгольская Русь, есть московская Русь, есть раскольничья северная Русь, есть Русь Христа ради юродивых, есть советская Россия – и есть казацкая Русь. Брат любил эту близкую нам Русь, однако общая всем русским память относил его к всадникам *удивительных вольных племён* Николая Рубцова. Он ценил произведения северного поэта, мы часто слушали магнитофонные записи песен на его стихи в исполнении Татьяны Петровой. Стихи Рубцова про неведомого всадника подходят к судьбе брата, выражают её сокровенную суть. Северянин и южанин совпадают здесь во вспышках и узлах жизни.

*Я буду скакать по полям задремавшей отчизны.
Неведомый сын удивительных вольных племён!*

*Как прежде скакали на голос удачи капризной,
Я буду скакать по следам миновавших времён...*

...

*Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая звёздная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели.*

...

*Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, всё понимая, без грусти дойду до могилы...
Отчизна и воля – останься, моё божество!*

...

*Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье
И тайные сны неподвижных больших деревьев.
Никто меж полей не услышит глухое скаканье,
Никто не окликнет мелькнувшую лёгкую тень.*

Славянская душа брата любила щемящие мотивы песен «Лучина», «Вот и станешь ты взрослою...», «Меж высоких хлебов затерялся». К этой лирике примыкает и её продолжает Рубцов. И совсем удивительно сходится с *лодкой*. Игорь однажды – в прежние годы – рыбачил сетками в одном укромном местечке и пустился в непогоду на лодке вниз. Поднялась такая волна, пошёл такой дождь, так всё гремело и стонало, что он более не мог плыть, подогнал лодку к берегу, бросил, оставил там, более не вернулся, и она *догнила на мели*. Отец ругался, был недоволен. Но брат мог поступать резко: лодка была старой, смолить и конопатить её он более не желал.

До страсти любил он окружавших нас в детстве и юности чудаков-выпивох. Счастливо воспалялся и смеялся, погружаясь в поток жизней, посреди которых и рядом с которыми осуществлялась его собственная. Не долгая – не дожил до шестидесяти, но интенсивная, порывистая, красивая перед моими глазами.

Он был по натуре всадник, наездник, скачущий в неизведанный простор и оставляющий позади скучную обыденность. Расширял горизонты, мерился силами со стихией, с препятствиями и с людьми, которые пробовали ставить ему преграды на его пути, пытались помешать быть вольным человеком. При этом он был любомудр, воспитанный на русских мальчиках Достоевского, такой же (более поздний по времени) русский мальчик из донских степей. Как человека, решающего религиозную загадку бытия на земле, его влекло всё неизведанное и подлинное. А подлинность ложится на чистое и доверчивое сердце, способное к удивлению.

Фальши он не переносил. Всякого кривляния, претенциозности. «Не верю!» – говорил он, сталкиваясь с очередной фальшивкой. «Не верю! – сказал за день перед смертью, посмотрев телевизионный сюжет о съёмках сериала на тему „Тихого Дона“, – не верю, что Маковецкий сможет сыграть Пантелея Прокопьевича. Какой из него Пантелей Прокопьевич!» (Маковецкий в этой роли заметно уступает актёру Ильченко, игравшему Пантелея Прокопьевича в классическом фильме Сергея Герасимова.)

Я был свидетелем преображения его ума. Сын земной девы Иисус есть Сын Божий! Поразительно, невероятно! Мы с ним причащались из одной чаши. Всё, что укрепляет чувство *иной*

реальности, влекло его. Он не уставал удивляться чудесам, которые отрывает нам природа, откровение невидимого Бога. Жажда неизведанного, таинственного находила выход в поисках истинного человека. Но ещё более чудесно Царство Божие – и свободой, и правдой. Там люди насыщают свою жажду правды. *И воздаст ми Господь по правде моей, по чистоте руку мою воздаст ми.*

...

Он пошёл вослед моим книжным занятиям. После прохождения службы в армии (служил со всякими приключениями на Амуре, заливался смехом, когда об этом рассказывал, служил, впрочем, исправно и вернулся из армии старшим сержантом) обучался филологии, в институте влюбился в студентку-чешку, женился, несколько лет прожил в Чехии, всю её объездил и хорошо знал чехов ещё в семидесятые годы. Объяснял чешским людям, что вовсе не все русские имели желание проехаться по ним танками, выслушивал от братьев-славян гневные слова и терпел тычки. Родил в Чехии сына, вернулся; работал словесником в местной школе, перебрался в областной центр, преподавал в лицее, в гимназии, в институте, в православном училище...

Он не был удобным человеком. И в областном городе оставался вольным одиночкой, трудно сходилась с людьми. Но не оставил суждённого ему поприща и работал по призванию – передавал не только учебный материал, а пережитое, познанное. Школа не затянула рутинностью, преобладанием женского пассивного начала. Он не поддавался – до конца остался вольным человеком степей, не согнутым, не покорённым.

Как преподаватель он воздействовал сразу и на разум, и на чувства, будоражил юные умы и сердца – он это умел и не давал ученикам закоснеть в узкой самости. Среди учеников попадались восприимчивые ребята; я это знаю непосредственно по их устным замечаниям и отзывам, по письменным работам, которые он мне показывал. Он организовал и вёл популярные в городе литературно-философские студии. Был креативен, изобретателен, философствовал свежо, из собственной глубины, ибо всегда жил интенсивной внутренней жизнью.

Я воспитался на чтении поэзии, а он до бесконечности любил Достоевского. Герои этого писателя, с их блужданиями и исканиями, сформировали брата. Он не щадил Петра Верховенского и шёл дальше Шатова – то есть верил не только в Россию, но и в Бога. Как настоящий литератор – неважно, пишущий или преподающий – превыше всего ставил гармонии Пушкина. В свои последние дни он так объяснил мне замысел «Станционного смотрителя», где, оказывается, Пушкин даёт – на примере Дуни – свой вариант с историей блудного сына (дочери), что я развесил уши. Внимательно читавший Константина Леонтьева и Василия Розанова, он стремился и их включить в умственный оборот провинции, чтобы та не поскучилась до полной серости.

...

Нам хватало впечатлений жизни; его энергичная натура ненасытно требовала жизни и движения; мы мало говорили о смерти. Старуха с косою явилась незаметно. В свой последний день он попенял мне, что я не видел смерти вблизи. Я обиделся, ибо наблюдал смерть близких людей, но потом понял, что он предупреждал о своей внезапной кончине. Он про неё знал. И вправду, я никогда прежде не видел смерти в такой внезапности нападения. В полной внезапности. Как будто выпрыгнула из засады, вырвала, унесла, сделала человека невидимым.

Накануне, за столом, мне было короткое видение его похорон, но я отогнал его как досадное – брат был задорен и весел. Мы вспоминали нашего хромого отца, его любовь к книгам, сентиментальность. Вечером ходили к реке, я купался, мы сидели на крыльце и пели раздольные песни. Он знал много казацких песен: строевых, плясовых, лирических, исполнял их на старинный манер. Вот он завёл более современное, привезённое из Чехии: «*Курил махорку,*

хороший табак, /любил девчонку донской казак...» Повздорили из-за мелочи. Помирились. Глубокой ночью страшный гром спустился в наш садик и грохотал, сотрясая стёкла, в яблонях и малиннике. С утра он почувствовал боль между лопатками. Пришла медсестра, сделала укол, боль отступила, он решил, что ничего не препятствует ехать после обеда; я дал ему в дорогу почитать роман португальца Сарاماго «Перерывы в смерти». Смерть сделала короткий перерыв, он благополучно доехал до города, по дороге шутил с женой, но едва успел выйти из машины и нагнуться над капотом, как она явилась. Понадобилось несколько мгновений для перехода в *иное*. Смерть разорвала уставшее сердце. Открылась беспредельность.

...

В детстве он на несколько голов превосходил меня – в задорности, остроте реакций, весёлости. Превосходил по всем статьям, ибо я был замкнутый и тихий малый. В памяти ранних лет он чаще всего там, где наш приёмный дед Василий Петрович, такой же весёлый заводной человек. Вот дед катает из свинца дробь, а брат рядом, дед мастерит капканы на сусликов, острит крючки на стерлядку, и Игорь тут как тут, дед плетёт челноком сети, и брат недалеко. Дед треплет его по вихрам, тискает. Брат фыркает, ежится, смеётся. Друг другу они говорят что-то весёлое, смешное. Дед шутейно зовёт его «друг-Колька» – ему нравился советский фильм «Друг мой, Колька» про такого же, как брат, озорного мальчонку.

Однажды он возвращается на велосипеде от деда Василия, с его экскаватора, которым этот ловкий человек в то время добывал красную глину. Возвращается один, по широкой степи, растрёпанный и взъерошенный, и взахлёб рассказывает про нападение орлов, от которых спасся под велосипедным колесом: испугался спикировавшую рядом большую птицу и залез под колёсные спицы. У него навсегда осталось внимание к птицам. «Знаешь, как эта птица называется? – Да не белый лунь, а гагара. А та? – Это щур, вроде райской птички по яркому окрасу. А эта? – Не дрофа, а канадский гусь».

Он любил наблюдать орлов-курганников. Возил меня на машине под самые скаты холмов, на Куру, смотреть на парящих птиц.

Обновится, яко орля, юность твоя!

...

Вот он вернулся из Чехии, живёт в селении, повторно женатый, снова семейный, но с какой лёгкостью и живостью косит траву на корову Кпопку. Как ловко рассовывает эту траву в мешки – только успевай относить в багажник. Сколько грации в его косьбе, в его сухопарой, лёгкой, до последних лет изящной фигуре. В ельцинские голодноватые годы они с Наташей, учитель и врач, ухитрились держать корову, были у них на столе масло, творог, сыр. Тоже своего рода удалство. Вот к нему приехал из Чехии сын, и они ловят кузнечиков для наживки на крючок, бросаются за ними, сталкиваются лбами, хохочут, валяются в высокую траву...

Этот мир был дан нам на двоих, а теперь мне одному осталось время, которое надобно коротать до новой встречи с тобой. Меня как перерубили надвое. У тебя теперь другие глаза, ангельские, – так оставь мне свои, чтобы видеть хотя бы в старости то, что умел видеть ты, чтобы просторнее было с удвоенными глазами дожить оставшееся мне время. У тебя лишнего времени не было – всегда ты был ненасытным к жизни, живым. Всегда находил, что высмеять, над чем пошутить. Бог взял тебя из твоей живости. Где теперь эта живость, нервность, возбудимость, острота реакций и выпадов, беспокойство за весь мир? Не знали мы тебя другим, кроме живого, – ни скованным немощью, ни больным, ни старым. Из живости взял тебя Бог и в живость вселит. Я ощущаю твою близость по движению меняющих очертания облаков, по трепещущим крыльям бабочек, по ряби на воде, по дрожанию листьев на серебристом тополе...

В царстве Божьей воли,

*В переливах жизни
Нет бессильной смерти,
Нет бездушной жизни...*

Вечная жизнь приоткрывается опытом. Гасла лампада. Долил масла, но она всё равно едва тлела. Стал читать «Символ веры»; на словах «Чаю воскресения мертвых...» фитилёк заметно вспыхнул. Слава Тебе, Господи, за жизнь и за живость.

Прощай, мой казак, мой князь Игорь! До свидания! Скрылся ты из наших глаз, и как и от древнего князя Игоря, скрылась от тебя за горизонтом сладкая сказка и шершавая быль, рвавшая твоё больное сердце Русь.

О Русская земля! Ты уже за холмом!

Как пустынно стало в мире. Кто теперь приедет, схохмит, бросит шутку, сыграет песню.

Перевалив через наши холмы, вернулся ты в родные места, чтобы навсегда упокоиться здесь. И всё ты видишь. Лежишь и смотришь на холмистую гряду, которую до судорог в сердце любил. Скачешь по этим холмам, как скачет таинственный всадник Рубцова, которого никто не слышит. Но тебя слышат!

Вы слышите его скаканье, холмы? Слышите, я знаю. Не забывайте, что по вашим шишкам скачет он, Игорь. Никогда не забывайте его.

...

Через три года вслед за братом ушла за холмы на 92-м году жизни моя мать. В последние годы мы не расставались, и до старости лет я имел материнское попечение. Ничто на свете несравнимо с материнским участием. В детстве оно кажется нам должным, в зрелые годы – незаслуженным. В нашем с братом младенчестве мама напевала нам «Казачью колыбельную» на слова Лермонтова. Потом на слова Лермонтова мы хором исполняли «Выхожу один я на дорогу...» Мама любила старые русские песни и романсы, имела хороший слух и голос. С детства была пытлива к внешнему миру, много читала, всем на свете интересовалась...

Она была открыта для внешних впечатлений, обладала мироприемлющим складом. Знала скорби и беды, но принимала жизнь. Любила читать вслух, любила слово. Мои рассказы не передают свойственного её речи языкового богатства. Родным языком она пользовалась как предоставленным ей благом. Вот, например: все знают праздник Преображения Господня. У мамы в дополнение к сему было словосочетание «воображение Господне!»: это когда начнёшь воображать о себе лишнее. Или она вдруг говорила: «притворение Господне!», и я не сразу понимал, что она намекает на моё притворство.

Помнила она много, и свойственное ей внимательное отношение к людям расширило ей горизонты жизни. С годами высветлялся её взгляд. Всегда она была доброжелательной, но, старея, всё более участливо взирала на мир. Поэтому ей и открывались новые обстоятельства жизни. И люди к ней тянулись – не только подруги, но и повзрослевшая местная молодёжь, которую она опекала и ободряла, услаждала и образовывала своими устными рассказами. В восьмидесятые годы отец начал хворать, и, заведя домашней библиотекой, мама снабжала молодёжь чтением. В отличие от отца, она просила возвращать книги. Мне и теперь встречаются люди, которые помнят, как она давала им на прочтение «Тихий Дон», «Хождение по мукам» или «Петра Первого».

Она знала большую нужду, росла в скудных условиях тридцатых годов. Скудость, бедность, но она не забывала о народном энтузиазме тех лет и отстаивала достоинства бедной трудовой жизни. У всякого времени своя интенсивность и своя правота. Маме дано было чувствовать внутренние токи времени в его потаённом выражении – как оно выстраивается внутри человека, как формирует его. Она приподнимала прошлое, хорошо улавливая поэзию бедно-

сти, когда Спаситель или Его угодник Николай приходят в хижины бедных людей и наполняют их тёплым светом.

Мама любила вспоминать детство. Чаще всего – хутор, где прожила вместе с бабушками и прадедом детство, и до мелочей помнила быт, обстановку, всякие рассказы и даже реплики. Её престарелый, но деятельный прадед был единственным уцелевшим в семействе мужчиной, заменял ей отца, баловал гостинцами, присылаемыми из донского леса лисичкой. В середине двадцатых годов, к моменту её рождения, этот человек сумел построить новый высокий дом в возвышенной живописной части донской поймы. Василий Никандрович командовал в гражданскую войну отрядом местных повстанцев и был известный по всей округе бывалый человек и затейник, повывавший большой мир, служивший за границей. Его рассказы сходились послушать и взрослые, и дети. По двору бегали борзые собаки Чара и Себерлей, с которыми он ходил на охоту. Но старик был под подозрением у новой власти, и в 1934 году на баз приехали чужие люди, на глазах девочки затолкали дедушку на подводку и увезли в тюрьму, где он вскоре умер без достаточной пищи и табака, который курил до старости. Собаки побежали вслед за хозяином и бесследно исчезли в степи. Оставшихся женщин из дома выселили, и они ютились у соседей. Их не выслали в Казахстан или ещё дальше потому, что из тюрьмы пришла бумага о недоказанности вины старика. Но не успели они вернуться в свой дом, как он сгорел. У них не осталось ни ложки, ни плошки. Колхозное начальство вынуждено было что-либо предпринимать, ибо женщины из семейства заключённого в тюрьму старика исправно трудились. Тогда им предложили переехать в станичное селение, где, после высылки или гибели хозяев, пустовала значительная часть домов. Они могли въехать в один из больших и красивых домов в центре посёлка, но не стали этого делать, а предпочли небольшой флигель близ Дона, до того принадлежавший погибшему на гражданской войне или репрессированному казаку Власову. При доме была левада с фруктовым садом, и вблизи реки проще было поливать и водить огород. Так остатки семьи, исключительно женского состава, перебрались жить в станицу, которую мама любила всё же меньше, чем хутор.

Нипочём не желала она выезжать с хутора. Однажды девочку захотели отправить к матери, на ближайшую железнодорожную станцию, где она проживала с отчимом. Этот отчим приехал за девочкой на хутор, при нём была лошадь с подводой. Девочка попросила прабабушку проводить её.

– Бабаня, проводи меня до гумна.

Доехали до гумна, располагавшегося наверху хутора.

– Бабаня, а проводи меня до Трубичкина буерака.

Терпеливо сидела старуха на арбе до мыска узкой степной балки.

– Бабаня, а проводи меня до Кременской.

Въехали в станицу.

– Бабаня, а проводи меня до переправы.

По тряской дороге доехала старушка с правнучкой до паромной переправы. Отчим завёл подводку на паром. Тронулись. Зашумела быстрая вода, и паромщики уткнулись в левый берег. Лида с Марией Романовной сошли за лошадью. Бабушка поцеловала внучку на прощание и пошла обратно. Иван Семёнович посадил девочку на подводку. Паром отцепили. Бабушка обернулась, а внучка бежит к парому и громко кричит: «Бабаня, бабаня, я соскучилась!» Старушке пришлось упрашивать паромщиков повернуть назад, и они сдали. Лида заскочила на паром и бросилась обнимать любимую бабаню. Так и не поехала она на станцию.

Мы часто возили маму к месту сгоревшего дома и сада с левадой. На хуторе не было кладбища, всех хоронили в станице, и только старую-престарую столетнюю прапрабабушку Евдокию, дочь майора Сысоева и вдову подъяесаула Козловцева, умершую в голод 1932—1933 годов, везти было не на чем и её погребли здесь, в укромном месте. Её могилу мы не смогли отыскать.

Прабабушку мама называла «бабаней», а бабушку – «маманей», их она и звала перед смертью, в свои последние дни. Это не означает, что мать бросила девочку, просто девочка видела мать редко, так как она жила с мужем отдельно. Воспитанная до двадцати лет «бабаней» Марией Романовной, рождённой в семье казачьего офицера и русского дворянина Романа Козловцева в начале шестидесятых годов позапрошлого века, мама от неё слышала про прежнюю жизнь, с чинами и богомольями. Но многое скрывалось, и жили они потаённо. Девочка видела, как дедушка прятал на дне походного сундука портрет государя-императора. Она спрашивала, почему нельзя показывать чужим людям фотокарточки с одетыми в мундиры военными при пашках. А их прятали потому, что был указ об уничтожении старых фотографий, ибо прежнюю жизнь велено было считать неправильной и навсегда про неё забыть. При Советах они жили без духовенства, но «бабаня» внушала девочке вместо катехизиса моральные заповеди и собственным примером указывала направление христианской жизни. Кроме добродетелей семейственности эта старушка отличалась страннолюбием – привечала изгнанных из монастырей монашек и блаженно юродивых. Несколько таких проживали у них на скудных харчах и кормились за общим столом. Выживали они все за счёт огорода и того, что дочь Василия Никандровича и Марии Романовны, то есть «мамано», за её примерное трудолюбие сделали заведующей молочной фермой, власти позволяли им держать корову, и у них водилось молоко.

В период войны глухое селение приблизилось к решающим событиям истории – Сталинград в ста километрах. Теперь в доме у странноприимной «бабани» вместо блаженных квартировали советские бойцы. *Болезнь вы мои*, привечала их старушка, угощая своей снедью, то есть печёной тыквой и мучной саламатой. Один молодой лейтенант даже было принялся ухаживать за шестнадцатилетней девушкой, вызывая её на свидания, но она не желала огорчать строгих бабушек. Заметив, что девушка любит читать, что у неё есть книги, он перед уходом их части оставил ей в подарок воспоминания Софьи Андреевны Толстой. Некоторое время он писал, но потом письма с фронта перестали приходить.

В войну маму задействовали на колхозной работе, на хлебозаготовках, потом послали учиться на ветеринарного фельдшера. Она любила животных и всё живое, но вот однажды вбегает в дом испуганной и оторопевшей. На вопрос бабушки, что случилось, она плачет, присев на лавку. Ей бросился в глаза всплывший труп немца, и она пришла домой без воды, с пустыми вёдрами. Наклонившись, чтобы почерпнуть воды, она увидела торчащие из кустов распухшие ноги, обутые в немецкие сапоги. Теперь воду надо будет брать выше, у следующего спуска, пока мёртвого немца не вытащат и не закопают. И в степи, когда она ходила к тётке на соседний хутор, ей во множестве встречались трупы убитых людей. В войну они с подружкой пасли коз у Круглинского озера, над ними не раз кружилась и снижалась немецкая «рама»...

Мама видела живых немцев, заходивших в их крайний дом, требовавших сала и яиц. Она в это время лежала за занавеской с распухшей ногой. Немцы внимательно исследовали все углы, а их врач, осмотрев больную, удачно сделал ей быструю операцию – удалил фиброму.

В тридцатые годы, когда мама росла и училась, всё казачье на местах было под запретом. «Бабаня» внушала правнучке уважение к предкам, но все они исчезли из глаз девочки. Последним был прадедушка Василий, которого выдернули из семьи и уморили в тюрьме. В их роду мужчины уходили из жизни, давая жить женщинам.

В 1946 году, когда мама похоронила свою наставницу «бабаню» Марию Романовну, она, вместе с ещё двумя местными девушками, уехала в далёкую центральную Россию, во Владимирскую область, учиться в текстильном техникуме. По окончании учёбы её распределили на работу в Ярославскую область. Но как в детстве мама не могла жить без родного хутора, так и потом не могла оставаться вне родины. Каждый отпуск она сюда приезжала, а в конце пятидесятых годов уломала отца и перетащила нас к себе на Дон. Так совершилось наше возвращение в землю обетованную.

В трудах и лишениях мама прошла советскую эпоху. Время и воспитатели внушили ей строгие понятия, повышенные чувства долга и справедливости. Она была предана своему времени в его органике, мучилась ностальгией по исчезающим приметам народной жизни, по близким её сердцу людям. Оставила письменные воспоминания на семейные темы. Но жила она радостно, до глубокой старости благодарно переживая дар жизни. Её взгляд запечатлевал чудесные явления. «Посмотри, какое чудо!» – восклицала она, увидев в телевизоре талантливого ребёнка, засмотревшись на распустившийся цветок, на красивый закат. Может быть, я не совсем научился видеть чудесное, но без призывных восклицаний матери многое пронесется мимо моих подслеповатых глаз.

Сгоревший дневник

Я вымышленных историй не рассказываю. Иногда записываю в дневник, а иногда делаю записки по памяти, как сейчас. По жизни я тесно связан с Донщиной. И теперь, в октябре 2017 года, перевалив через макушку лета, схоронив в августе мать и пережив раскалённый сентябрь, встречаю на Дону вернувшиеся после *оловянного блеска заморозков* тёплые дни. Вокруг построенного в разгар социалистического строительства, в середине пятидесятых годов, дома по бело-розовым цветкам львиного зёва уже не гудят, как летом, чёрно-бархатные шмели, на крыльцо не залетают кусачие оводы, не порхают разноцветные бабочки – вестницы иной жизни. Но вот проглянуло солнце, и ожила лимонница...

Дом, где мы жили пятьдесят лет и где я уже навсегда остался один, замкнув кольцо семейной жизни, не отпускает меня. Я подолгу, иногда по полгода живу здесь, как в далёкой юности.

...

Смолоду, учась в последних классах школы, я начинал нечто искать, результаты отмечал в дневнике. Теперь не могу передать в подробностях, чего я искал, для этого надо бы заглянуть в юношеский дневник, но он в девяностые годы сгорел на даче у приятеля. Когда загорелся дом, в котором помещался картонный ящик с моим архивом, приятель спал. Его разбудили собаки, и он успел выскочить. В сгоревшем ящике у меня были собраны бумаги и письма, в том числе от отца и матери за многие годы, и лежал юношеский дневник. О чём я тогда писал? Помнится, искал образец человека и записывал мнения о прочитанных книжках. Я старался участвовать в жизни, но мои отрочество и юность были заполнены не столько общением, сколько книгами.

Я был самонадеянный юнец, если из несусветной дали, с Дона, из рабочего посёлка, возникшего в черте нашей старинной станицы, решил ехать в Москву и поступать на филологический факультет Московского университета. В последних классах литературу у нас вела Мария Матвеевна, молодая выпускница педвуза, поощрявшая мои дерзания. Она была (и теперь есть) поэтесса, существо приподнятое. Любила стихи, и над Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым мы задумывались вместе. *Да здравствует тощая шкура / сельских учителей / и русская литература / за гранью лесов и морей!* – написал о словесниках из русской глубинки поэт Владимир Леонович, преподававший литературу в отдалённом костромском селе.

Мне смолоду встречались люди, любившие книгу и литературу. Любила её и моя самая первая (до Марии Матвеевны) преподавательница литературы, тоже молодая и обаятельная женщина. Она была родом из Новочеркасска и жила рядом с нами, покуда был жив её муж, наш земляк, учёный агроном, здесь заболевший и умерший. После смерти мужа она уехала в столичный Новочеркасск. Была ещё бодра и интересовалась словесностью бывшая учительница моей матери – энтузиастка донского просвещения из дореволюционных гимназических выпусков. Когда моя мать девочкой уставала в походе по степи, то эта самая учительница брала её на закорки и несла на себе. Вот как надо учителям относиться к ученикам. И потом, после окончания мамой школы, эта учительница всячески поддерживала бывшую ученицу советами и участием. Часто заходил к нам в гости переписывавший в молодости стихи Мережковского старый агроном Иван Тимофеевич. От него я с юности имел возможность читать «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя в издании Маркса. Подаренная им книга сгорела вместе с моим архивом. Эта религиозная вещь Гоголя была в советское время под запретом. Она с юности настраивала меня на серьёзную волну.

Заядлыми книжниками были мой отец и мать. Мы имели пёструю обширную библиотеку и выписывали журналы «Юность», «Новый мир», «Иностранную литературу», «Дон» и другие. Родители читали и их, и выпуски «Роман-газеты», стопки которой, начиная с начала пятидесятых годов, так заполнили квартиру, что часть из них позже пришлось вынести в сарай, а потом отвезти в книжный магазин. В 1963 году в «Роман-газете» появилась повесть Солже-

ницына «Один день Ивана Денисовича». Она была заключена отцом в картонный переплёт и до сих пор хранится в нашей библиотеке; чтение Солженицына я начинал с этого издания. Отец оформлял подписку на собрания сочинений русских и зарубежных классиков в приложении к «Огоньку» и всегда был обложен книгами.

Кроме художественных я вразброс читал книги по истории и теории литературы, в результате чего решил внести свой вклад в изучение полюбившегося мне предмета – стать филологом. Должен же был я с кем-либо обсудить свои представления о Пастернаке? Мария Матвеевна дальше Пушкина, Лермонтова и Некрасова не шла, а «Поэтический словарь» Квятковского, который я замусолил до дыр, отвечал не на все мои вопросы. Мой начальный импульс – стать филологом, а никаким не писателем, ибо что я мог тогда написать или описать. Передо мной шла красочная народная жизнь, а я зарывался в книги, фиксируясь на своём, мечтательном. В результате получилось, что я больше написал на литературные, а не на житейские темы.

Но прежде чем кем-либо стать, надо закончить учебное заведение. Если бы я знал, что останусь человеком без профессии, я, может быть, подумал бы, идти ли мне на филологию, но, помнится, настроен я был решительно. Москва, университет – заманчиво. Отец меня спрашивал: а кем я буду, когда выучусь? Я комкал. Отцу моё будущее в качестве школьного учителя не слишком нравилось, да и сам я не собирался быть учителем и плёл, что могу преподавать в институте, может быть, редактировать, комментировать. Это отцу нравилось больше, но родителю втайне хотелось, чтобы я стал не комментатором, а писателем – в советское время это было наиболее престижное, после партийных и кагэбэшных должностей, звание. Я понимал, что даже в университете на писателя выучиться невозможно, – на журналиста, да, можно, но я хочу поступать на филологический факультет, где дают больше знаний о литературе.

Домашние не только не мешали моему сидению за книгами, но поощряли странности сына, теща себя надеждой, что я стану учёным и важным человеком. К хозяйству меня привлекали мало, и не было у нас большого хозяйства. Так случилось, более всего по моей природной лени и неловкости, что, вырастая в близости к природе, я не втянулся в хозяйственные работы, хотя не отказывался помочь по мелочам. Отец у нас был городским безбытным человеком, к хозяйству склонности не имел, в этом смысле я пошёл в отца.

В 1969-м году моя попытка не удалась – в университет я не поступил. Известный на филфаке преподаватель Владимир Турбин влепил мне тройку на устном экзамене по литературе. Я считал, что он мог бы поставить четвёрку, ведь про единство места, действия и времени я хорошо знал. Конечно, это единство создавало у зрителя эффект правдоподобия. Я же это знаю! Когда я вышел из экзаменационной комнаты, я себе это чётко представлял, но вот произнёс ли на самом экзамене слово «правдоподобие», не помню.

Всё же я съездил в Москву не зря. Увидел старые корпуса университета на Моховой, преподавателей и абитуриентов, лучше стал представлять требования, предъявляемые к экзаменуемым. Наконец, я познакомился с Володей Казариным и Лёней Бейлисом, и моё одиночество отныне не будет столь неизбывным, ведь они пишут мне, а я им. Одиночество оставалось, но я к нему привык. Я привык быть один на один с книгами. И так было ещё целый год, до следующего лета. Никогда после я не читал так много – досуг у меня имелся.

Есть у Райнера Рильке стихотворение «За книгой» в переводе Пастернака. Я познакомился с переводом позже, когда заканчивал университетский курс. В этих стихах как будто бы отражены мои ранние книжные занятия – Рильке тоже читает где-то в селе:

*Я зачитался, я читал давно,
с тех пор, как дождь пошёл хлестать в окно.
Весь с головою в чтение уйдя,
не слышал я дождя...*

И вот Рильке читает, читает, всматривается в строки, как *в морщины задумчивости*, – садится солнце и подступает ночь...

*Но если я от книги подниму
глаза и за окно уставлюсь взглядом,
как будет близко всё, как станет рядом,
сродни и впору сердцу моему.*

*Но надо глубже вжиться в полутьму,
и взгляд приноровить к ночным громадам.
И ты увидишь, что земле мала
околица, она переросла
себя и стала больше небосвода,
и крайняя звезда в конце села,
как свет в последнем домике прихода.*

Хотя у нас церкви и прихода не имелось, но когда я выходил ночью к околице, то не мог понять, светится ли вдали окошко крайнего дома, который стоит уже за оврагом, или это испускает лучи низко висящая над горизонтом звезда. Рильке написал про увеличение пространства, так необходимое в юности, про то его расширение, которое приходит вместе с углублённым чтением захватывающего тебя автора.

А кроме как из книг впечатлений искусства я имел мало. Когда удавалось посетить на несколько дней Москву или Ленинград, то ходил в музеи и на музыкальные концерты. Имел пластинки с записями популярных мелодий классической музыки и несколько альбомов с плохонькими репродукциями картин отечественных и зарубежных художников. Зато тесно соприкасался с фольклором, слушал народные песни в живом исполнении – люди их ещё пели.

Мой отец, работавший в конторе местного газового промысла, помог оформить на меня трудовую книжку, где написано, что я тружусь «помощником оператора по добыче газа», но разве я что-нибудь смыслил в этом деле? Не смыслил, и теперь ничего вразумительного не могу рассказать про добычу газа. Я не ездил на вахтовой машине в операторские будки, разбросанные по степным просторам, не оставался на ночные смены. Я не работал, а стаж мне шёл; не очень, надеюсь, обманывал государство, ибо денег не получал.

Вот тогда я и завёл тетрадь для стихотворений, а ещё писал сочинения на подготовительные курсы при МГУ. Кроме того, подтягивал немецкий язык, редко и без особой на то нужды помогал по хозяйству и делал прогулки к Дону. Шёл по живописной дороге вдоль реки, заходил в донской лес с его сухими запахами, ящерками и змеями, уходил далеко, к Чёрному острову, к повороту реки, где над обрывистым песчаным берегом высятся три великанских тополя, должно быть, трёхсотлетних – их мощные, узловатые, длинные корни выходят наружу и окунаются в водный поток. Кажется, они вот-вот упадут в реку, но до сих пор вода не подмыла эти деревья.

...

1970 год принёс удачу – я поступил в университет. Если бы не поступил, осенью меня бы забрали в армию, к службе в которой я себя способным не чувствовал. Судьба моя сложилась бы иначе. Но на сей раз университетский преподаватель Анна Ивановна Журавлёва (Царствие ей Небесное) поставила мне пять баллов за сочинение, в котором я допустил две пунктуационные ошибки (не выделил вводные слова). Она сочла это несущественным, а содержание ей понравилось. На устном экзамене по литературе я также получил высший балл. Меня приветил начальник подготовительных курсов при филологическом факультете МГУ Николай Ива-

нович Герасимов. Он читал посылаемые мной на курсы сочинения, обратил на них внимание и пригласил меня домой для беседы – то был добрый человек, хорошо знающий предмет филолог старой московской школы.

Я приехал в Москву не с целью её завоевать. Я приехал, чтобы учиться. С тех пор я долго жил в столице, неплохо знаю и люблю её старую часть. Оттого, наверное, что не желал её покорять, не испытываю и чувства разочарования.

Общественными вопросами я в юности себя не обременял, был «амбивалентным», меня не слишком это затрагивало. Во мне была закрытость от впечатлений общественности. Материальной нужды я не испытывал: сыт, одет, обут. Все кругом считали, что так всегда и будет, что развитие возможно лишь в социалистическом направлении – я не перечил. Я рос в стихии патриархальной жизни и мало сталкивался с отвратительными тоталитарными чертами советского строя, поэтому, наверное, был далёк от революционных настроений. Не было у меня, надеюсь, и особого сервизизма. Проще сказать, политические рефлексии у меня вытеснялись другими. Но к вопросу о правде-истине я равнодушен не был. Случалось, что допекал отца: почему одна ваша партия должна командовать? Отец злился или расстраивался. Они, де, воевали, строили, а в партию он записался после войны и тяжёлого фронтового ранения. Тут я замолкал, а что возразишь? Партия командует, а не отец – он-то безо всякого властолюбия. И в спорах я участвовал: про революцию, про красных и белых, про Сталина, про Хрущёва, про Брежнева. Когда мне было шестнадцать лет, мы с отцом и другими заядлыми спорщиками обсуждали на местном уровне чехословацкие события. Я был против притеснения чехов.

Так вот, к вопросу о правде-справедливости. Построен новый мир, в который горячо верит мой отец. И действительно, много хорошего: люди выровнялись, деньги не играют первенствующей роли (хотя их всегда не хватает), образование и медицина бесплатные, а у нас в селении и жильё бесплатное: за газ и воду мы не платим (всё за счёт местного газового промысла), а за свет – копейки. Но почему всё переведено в социальную плоскость и упущен человек? У человека есть своя собственная проблематика, а все толкуют лишь про социальные проблемы. Обобществили человека и забыли о нём. Забыли того человека, о котором писал Бунин. Где теперь этот человек, с богатством его внутреннего мира, куда его дели? Я проявлял интерес в вопросе о предназначении человека.

...

Когда в коридорах старого здания университета на Моховой во время сдачи вступительных экзаменов я познакомился с Глебом Анищенко и Женей Поляковым, то обрадовался такому знакомству. Я не ошибся – эти литературные юноши ввели меня в свой кружок, выросший из литклуба 16-й московской литературной спецшколы, где они учились. Литклубом руководили две образованные, умеющие формулировать актуальную литературную проблематику дамы, позже они приходили и на собрания уже не школьного, а вольного поэтического кружка, с обеими меня познакомили. Ирина Петровна Кудрявцева была приятельницей Юлия Даниэля, он посвятил ей «Стихи о воде» (это посвящение почему-то отсутствует в издании сочинений Даниэля 2019 г.). Ирина Петровна переехала жить в Америку. С Полиной Ивановной Овчаровой мы дискутировали о Лермонтове.

Заметный и самый инициативный участник кружка Андрей Пагирев, на квартире родителей которого мы чаще всего собирались (его мать была из рода Лермонтовых, а отец успешным журналистом), позже написал.

*Времени тихий потоп
смывает нас, как гуашь,
нанесённую на Божью эмаль...*

Под гуашью Андрей, за год до своей кончины, разумел не только неустойчивость нас самих, но и непрочность тех красок, какие мы пытались положить своими стихами. А Божия эмаль – покрытие высокотемпературной обработки и не смывается. Надеюсь, мы не испортили эту эмаль...

Женя Поляков утверждал, что *жить неважно при ком – дорогое в другом*, и заявил однажды в рукописной статье тех лет, что лирический герой Глеба Анищенко набил бы морду поэтическому персонажу Марка Фрейдкина. Глебов герой был ершистым, дерзким, с выходкой (*мой единственный фонарик – папирота!*); в нём были приметны черты свободолюбца, наследника декабристов, белогвардейцев, Николая Гумилёва. Глеб осмыслял и тему поэта – при видимом легкомыслии его поэт пытается вспомнить нечто важное: *пустые глазницы старинных поверий перекрестились на этом вале...* Из наших стихотворцев Анищенко был наиболее содержателен.

Марк Фрейдкин сочинял мелодично, музыкально, но его герой ускользал от определений (за это морду не бьют):

*...Всё сегодня, завтра – жалкие мгновенья...
Поколение мандельштамовской тоски,
нам влюблённость и везенье не с руки —
музыкальности бы нам да вдохновенья...*

Марик оказался, вопреки романтически отрешённому в юности облику, человеком практичным, раз стал организатором и владельцем знаменитого в девяностые годы элитарного книжного магазина «19-е Октября». Он писал прозу, переводил элитарных французских поэтов. На годах мне сказали, что его уже давно нет на этом свете.

Если задаться вопросом, что нас соединяло, помимо стихотворческой воодушевлённости и поколенческой близости, то можно ответить так: поиск некоей спрятанной или подавленной правды-истины. Русские мальчики не довольствуются действительностью, им подавай то, что за пределами видимого. Так и начинается поиск – как порыв за видимый горизонт. Бог открывается не сразу – невидимый Бог, живущий вне истории, за пределами земной эмпирии. Но люди ищут Бога в земной истории, как потеснённую ходом исторической жизни *правду...*

Мы числили себя сторонниками белой идеи. Тут была и серьёзность молодёжного протеста против скучного официоза, но присутствовали и театральность, фрондёрство, наигрыш. Нам представлялось, что мы избываем плоды революции, преодолевая то жестокое, что становилось на наших глазах казённым, серым и скучным. У Глеба Анищенко белогвардейцем был его дядя-тёзка. У меня были белогвардейские предки с Дона. У всех похожее имелось, а не имелось, так можно было примкнуть. Дети благополучных времён советского строя, мы решались жить помимо предписаний – не по узким меркам и пропагандистским клише, не по законам классовой борьбы и злобы. Искали другие ориентиры, других героев – и находили их на фронтах той самой *единственной гражданской*, только с противоположной лирическому герою Окуджавы стороны. Мы пели про поручика Голицына, про доблестных белогвардейцев, на чьих погонах *вышивает кресты последняя осень*.

В *белых* играть не запрещено, однако мы давно не дети, и для меня гражданская война закончилась. Про красных и белых, про революцию и гражданскую войну неистово спорят в год столетия драматических событий истории, но всё это более-менее романтика, ибо никаких реальных красных и белых больше не существует. Жизнь усложнилась и не укладывается в красно-белую оппозицию. Надобно радеть о будущем народа. Россия – это народ и его будущее, а не отгрохотавшая и отзвеневшая история. Напрасно бросать в воды истории якорь спасения – история не спасёт. Пусть история клубится в книгах и кинофильмах, оседает пылью в учебниках и на университетских кафедрах – она прошедшее, не надо мерить историей буду-

щее. В прошедшем она разъединяла людей, а двигаться можно лишь в сторону единения, не разбиваясь по мечтательным признакам. Нелегко соединить в сознании дореволюционную и постреволюционную Россию, но лишь вместе это и есть фактическая и лирическая Россия.

И ещё нас соединял Мандельштам – опорный поэт нашего поколения. Моим недостатком было то, что до поступления в университет я не знал его стихов. Мне быстро помогли избавиться от этого. Мандельштам подвигал, в силу вечной свежести и новизны своего голоса и по нашей к нему молодой восприимчивости, на дерзкое словотворчество. Он настаивал на приоритете *внутренней правоты*. Он её демонстрировал. В «Четвёртой прозе» Мандельштам учит, что настоящая литература – это *ворованный воздух*. Про ворованный воздух, про написанную без разрешения литературу – это было до жути важно. Это жгло. Мы желали сочинять безо всякого разрешения.

На писание никакого разрешения не требовалось – пиши, что пожелаешь. Другое дело, что ты с написанным будешь делать. Публиковать? Но ведь мы знали, что вся текущая литература – разрешённая, подцензурная. Зачем совать нос к журнальным редакторам, если они отнесут твою рукопись к цензорам. В бытность студентом-сочинителем меня как-то затащили в редакцию «Юности», но я быстро сообразил, что мне туда ходить не надо, и им меня видеть нет надобности. Ещё более решительно я стал отодвигать в сторону всё разрешённое. Широко печатались Евтушенко, Вознесенский, Рождественский. Для нас они не были авторитетами, их произведения я знаю мало. Того содержания, которого требовало наше молодое сознание, мы у них в своё время не находили, а позже мне было недосуг. Теперь я лучше представляю, что среди советских поэтов было немало значительных авторов. Не бывает так, что одна запрещённая литература хорошая. Выходили книги Арсения Тарковского, Давида Самойлова, Тряпкина, Юрия Кузнецова, Кушнера, Леоновича – надо было их доставать. Но мы больше читали несоветских: Достоевского и Константина Леонтьева, Розанова и Бердяева, акмеистов и эмигрантов. По самиздату прорезывались новые голоса, но какой из них подлинный, настоящий – было трудно различить. Перепечаток Бродского в первые семидесятые годы было не много, хотя его «Пилигримам» я подпевал – их пел под гитару мой университетский приятель Саша Корчик. После «Остановки в пустыне» я не слишком увлекался Бродским, его послания из-за рубежа прошли мимо.

Ладно, с печатанием не получается, никогда не получится, нечего о нём думать – давайте почитаем. Можно и своё, можно и Мандельштама. И сколько радости давал Мандельштам! Его совершенно новая гармония, смелость и проработанность тем, энергетика словосочетаний, полёт и свобода завораживали. *Век мой, зверь мой...* Мандельштам изо всего извлекал гармонию, даже из впечатлений от своего *века-волкодава*. Но уже не таким *волкодавом* выглядел век. Державшийся на мантрах марксизма-ленинизма режим сохранялся, но путы ослабевали, и массовые репрессии прекратились.

Опусы участников кружка и стихотворцев из близкого круга набирались на пишущей машинке Андрея, им же переплетались в самиздатские книжки. Две или три у меня остались, остальные сгорели на даче под Обнинском, вместе с дневником.

С Андреем мы сошлись близко. Пока он служил матросом-стрелком на Тихоокеанском флоте, активно переписывались. У меня уцелели поблекшие рукописные и машинописные автографы его замедленных, медитативных стихов. С годами в нём нарастали христианские настроения, как у большинства из нас:

*Падут во прах великие победы...
Душа останется. И с небом наравне
Хранивший душу преломляет хлебы
И слышит нёбом истину в вине.*

Есть вещи, о которых можно сказать только стихами. Может быть, лучше было написать про душу, что она не «слышит», а «чует» нёбом истину, но Андрею виднее. *Хранивший душу*, он и сторожевал, и зарабатывал деньги на архивной работе в глубинке, а в последние годы подсоблял при подмосковном храме. После его смерти (неудачная операция опухоли в голове) на разломе веков и тысячелетий, аккуратно в нулевом году, вдова издала тонюсенькую книжку его стихов. В стихах Андрея у его *нежной ягоды надежды* нет даже *кожи*. Он говорит в трёхстишии про *тихий потоп времени*, смывший нас, а вместе с нами и наши строчки из тех лет. Время, поверх которого мы пробовали сочинять, отомстило нам. Где те стихи? – остались в тетрадах или сгорели, как мои.

Андрей не дожил до пятидесяти и всегда выглядел молодым. Говорил, что думал. Верил в то, что говорил. Он сохранил единство сознания, чувство *внутренней правоты*. На почтовых отправлениях и на книжках, которые дарил мне во множестве, он печаткой оставлял свой экслибрис: кораблик с парусом и стремительный росчерк «А» и «П». Было в начале Арбата, не так далеко от ресторана «Прага», кафе, с лёгкой руки Андрея мы называли его «Колдобинной». Андрей меня туда иногда заманивал. Обыкновенно в разговоре он использовал не долгие периоды, а короткие фразы и реплики, междометия и восклицания, делал паузы, погружался в молчание, но взаимопониманию это не мешало. Мы садились за столик, он усмехался с характерным прищуром и хитрецей, глубокие бархатные глаза начинали блестеть; поднимал вверх указательный палец, адресуясь к высоте, куда мы имели склонность обращаться.

В восьмидесятые и в девяностые годы мы встречались реже. Последняя наша встреча закончилась походом в винный магазин, бывший на углу Трёхпрудного переулка, недалеко от дома, где некогда жили сёстры Цветаевы вместе со своим знаменитым отцом (я тогда проживал поблизости, в Ермолаевском переулке). После похорон я написал Андрею стихи. Здесь также упомянуто вино, но обыкновенное, а не причастное: *вино надежды, нежных лепестков короткой юности, что стала нашей метой...*

Цитируя свои строчки, отмечу, что я лет десять после окончания университета стихи не записывал. *Если можешь не писать – не пиши*, советовал Лев Толстой. Раз не писал, значит, не ощутил в себе призвания бросать *феерический год на лирический лёд, как на плаху*, — как говаривал Женя Поляков. Нужна сверхъестественная уверенность в себе, чтобы пренебречь *презренной пользой* и посвятить жизнь сочинительству. Юношеские стихи я с тех пор забыл и помнить. Стихи стихами, а на семью надо было зарабатывать. На рубеже семидесятых-восьмидесятых годов меня выручила мысль, что я намеревался стать не поэтом, а филологом. Так я стал втягиваться в рутинную редакционную работу: принимал и просматривал рукописи и сам немного писал в научно-популярном жанре. Редактором в толстых литературных журналах я не служил, молодых поэтов и прозаиков не обижал отказами – я работал в профильном издании. Романтический флёр с меня слетал, от поэтических кружков я отходил. Редакторское дело, журналистика для филолога, не замышляющего романов, занятия наиболее подходящие, считал я.

Я оставался поклонником *белого дела*, то есть возвышенного действия и поступка. *Белогвардейская рать святая...* «Лебединый стан» Цветаевой тоже сыграл свою роль. Но и из рядов доблестного белогвардейского воинства с течением времени по причине убыли в его рядах и исчезновения соратников, при отсутствии командиров, приказов и линии фронта, можно сказать, самоустранился, выбыл. Где оно, это воинство? Да и за что воевать, за *учредилку*? Те белые, о которых мы пели песни и читали книжки, воевали за Учредительное собрание, но даже у них не всегда присутствовала цель борьбы...

Мне открывалось более скучное, зато предметное пространство. Надо было ориентироваться в этом пространстве, ибо оно и было тем настоящим временем, в котором выпало жить. Опять же и отец: он не перестал меня спрашивать, на кого же я выучился.

Отрывок

Мои бумаги в 1994 году сгорели вместе с картонным ящиком, но в письменном столе сохранился черновик одной оборванной записи. Некоторые имена я здесь изменил, но имена лиц, ставших достоянием истории, оставил без изменения.

Осень 1973 года

...Начать следует не с полученного третьего дня письма, не с оглушительного по своему содержанию письма от Олечки – начать надо с того, как я оказался на Кропоткинской, где завязалась история с Зоей, ибо письмо напоминает мне о ней. Однако и предысторию надо изложить. *Молчи, скрывайся и таи*, но я попробую.

Шла ранняя осень 1973 года. В аллеях университетского парка на Воробьёвых горах пышные клёны ещё не начинали краснеть. Я с неделю как вернулся с каникул, начал занятия на четвёртом курсе и после встречи с приятелями, помню, ворочался на узкой кровати, на матрасе в шишках, в общежитии, пытаюсь заснуть. Мы пили пиво в кафе-стекляшке недалеко от Китайского посольства, у кого-то оказалась водка, мешали, было не совсем комфортно. Морфей меня обыкновенно не оставлял, и на сей раз должен был явиться, и соседей не было, никто не мешал мне заснуть. Стояли в той комнате ещё две кровати, в общаге главного здания университета, на 22-м этаже, так высоко, что в ненастные дни в раскрытое окно вползали лохматые тучи, и непривычно мне было.

Весь минувший год я прожил пониже и один, в изолированной комнате двухместного бокса. Это благодаря Грабчуку – туда просто так не селили, а только по линии обменов-контактов с иностранными студентами; Грабчук съехал тогда к московской тётушке, но место за ним сохранялось. А здесь со мной будут жить Юрочка и Серж. Юрочка ещё не приехал, большой зануда, но тихий, а Серж почти всегда приходит поддатым. Вот где он сейчас, что его нет, где шатается? Наверняка, с непутёвой Лариской. Однако я ему не нянька. Не всегда он был таков. Первые два учебных года мы с ним снимали комнатёнку в бараке, на западной окраине Москвы. Барак был под снос, коридорного типа, с жильцами-работягами, с общим умывальником и уборной. Комнатой распоряжалась родственница Сержа, молодая особа, а мать её в это время сидела в тюрьме за убийство топором мужа, которого – мёртвого! – прятала несколько дней в подполе той самой комнаты, где мы жили. И Серж меня всё пугал, что вот сейчас из подвала вылезет этот самый убитый женой мужик, но крышка была плотно подогнана к полу, прикрыта ковриком и никто не вылезал. Мы хорошо с ним жили, дружно, и Серж корпел над книжками, а теперь чудо будет, если дотянет до диплома, – пустился в тёмные дела, подфарцовывает, мне задёшево перепали от него джинсы.

В стекляшке с нами оказалась рыженькая Зоя с выпускного курса и этот – заносчивый, с претензиями – Зотов, тоже выпускник. Не иначе, как он за ней увязался, или за Грабчуком, мог и за Грабчуком. Хотя старшие студенты с младшими не водятся, но Грабчук отслужил на флоте три года – старше нас всех. Он пока сидел в радиорубке крейсера на Тихом океане, выучил наизусть Катуллу в подлиннике, а увлёкся римскими поэтами ещё у себя в Харькове. Зотову перед Грабчуком не покичиться, хотя Зотов складно болтал о Генрихе Бёлле, которого видел в доме у знакомых.

Оказалось, что Грабчук знал эту самую Зою. Они стали в сторонке, и Игорь ей что-то читал с листа, а она записывала. Она ушла раньше, одна, пока Зотов нам – были Веденяев с Катковым – продолжал рассказывать о Бёлле.

Грабчук на обратном пути пояснил, что Зотов с романо-германского отделения, а Зоя со славянского – сербка. Хорошо знает язык, занимается у Никиты Ильича Толстого, её обещают послать в Белград. Она попросила Грабчука перевести ей небольшой латинский фрагмент про Кирилла и Мефодия для диплома, он ей с листа и перевёл, пока мы пили пиво. Предлагал познакомить меня с ней, но я парировал – сам пусть займётся, а он напомнил, что скоро женится.

Грабчук не терпел подле себя филологинь-недознаек, невесту нашёл на мехмате, математичку. Никому её не показывал. У Грабчука шла обширная жизнь – факультетская лишь фрагмент; и свадьба у него была на носу, и проблемы с жильём: надо будет снимать, невеста не московская, у тётки жить не получается. Вообще, Грабчук, с одной стороны, человек учёный, с другой – легкомысленный: в аспирантуру его не тянуло, и он не вступал в партию, куда, по мнению деканата, давно должен был поступить как отслуживший срок действительной службы старшина запаса. Репутация его на факультете была не ахти: уклоняется от общественных нагрузок, отказался стать комсоргом курса, но вот дали поручение по опеке над иностранцами – это ему-то! Но он такой – внешне представительный, и на него смотрели сквозь пальцы: статус отслужившего армию студента допускал отклонения. А куда он со своими знаниями латыни – вот если бы он учился на классическом отделении, а так?.. Но он хвастался, что ему на кафедре античной филологии выдадут справку о том, что он имеет право преподавать латынь, и его уже просят написать про Катулла для научного сборника Харьковского университета. В Харьков бы ему вернуться, там бы ему цены не было.

Своеобычен козак Грабчук: плотный бурсак с длинными усами, а в лице тонкость. В последнее время стал предаваться зелёному змию – не надо бы, и таскаться по богемным квартирам. У него доступ к самиздату. И меня вовлёл. Читаем.

«Слушай, поедем в Беляево, к Вадимчику, там Веня будет...» – предложил он мне. Но я уклонился: тащиться к Вадимчику, которого я уже пару раз видел, далеко, всё кончится пьянкой, хватит уже пива с водкой в кафе, завтра надо идти на семинар. Распростившись с Грабчуком, поехавшим к тётушке, я направился по пышной кленовой аллее в сторону общежития, где у проходной тёрлись непонятные, экзотические люди, слышалась нерусская речь: иностранцы пытались провести гостей или, наоборот, наши – иностранцев. Я подумал было зайти в гости к двум знакомым исландским девушкам, наследницам викингов, послушать их рассказы про страну Исландию, где все друг друга знают, но передумал и пошёл спать.

Дня через два Грабчук сманил к Вадимчику. Говорит: на живого писателя, на Веню посмотришь, ты хоть раз в жизни видел в глаза живого писателя? Я ответил, что у нас на факультете одни сплошные писатели: пушкинист Сергей Михайлович Бонди – член Союза писателей с момента основания, и Кулешов с Метченко вполне даже писатели и члены, вон у них сколько разных умных книжек напечатано: и про Чернышевского, и про Маяковского. Грабчук возразил мне, что настоящий писатель должен писать про жизнь и про живых людей, а не про других писателей. Вот он, Грабчук, начал писать про Катулла, но это ещё не значит, что он писатель. «Ну а как же те, у Волгина, на студии «Луч»? – «Серёжа Гандлевский и Саша Сопровский, что ли, писатели, или этот, краснощёкий, как его, Казинцев? Есть там одна, – Грабчук притворно и мечтательно задумался, устремив глаза к небу, – по фамилии Седакова. Вот она, может, станет когда-нибудь писательницей. Но и она пока не писательница, а переводчица».

Моё представление о писателе было похожее: писатель – это тот, кто знает про людей нечто такое, чего не знаем мы. Писатели в этом отношении превосходят простых смертных и призваны нас учить. Что до поэтов – то у них, кроме знания людей и жизни, есть дополнительный «объект» в виде их искусства. А мы – мы филологи, не писатели. Мы писателей изучаем. Вот мой научный руководитель со второго курса Николай Григорьевич советовал мне читать «Адольфа» Констанана и «Ученика» Бурже – я читал, искал русских аналогов этим

романам воспитания, но пока нахожу в качестве таковых лишь «Жизнь Арсеньева» Бунина; французы психологически изошрённое, а Бунин ближе по национальным признакам. Советских беллетристов я читал мало, несмотря на внушения отца.

Правду сказать, настоящих писателей я в глаза никогда не видел, да и где. Разве что на поэтическом семинаре Игоря Волгина видел его самого. Говорят: большой любитель девочек. Их там у него много. И ещё одного поэта – Георгия Ивановича однажды видел у себя в селении по чьей-то подсказке, но даже лица его толком не разглядел. Он был в весёлой выпившей компании, с фырканием плескался в реке, выскакивал на берег, трусил по песчаной косе в длинных сатиновых трусах, резво разбежался, и, где покруче, сложив перед собой руки топориком, лицом вниз шлёпался в воду – с такой силой можно было себе и нос об воду расквасить. А был ли Георгий Иванович, поэт местного масштаба, на чьи рифмованные сентенции в районной газете пытался обращать мой взгляд отец, настоящим писателем, про то мне неизвестно и не узнаешь никогда: где теперь та газета, где Георгий Иванович?

Поехали к Вадимчику. Жили они с Любчиковой в новостройках, в Конькове; в полупустой квартире практически без мебели выделялось чёрное пианино, на котором музицировала горбатенькая Лида Любчикова, однажды я её слушал. А писателем был не Вадимчик, а его друг русоволосый высокий Венечка Ерофеев. В помятом серёньком пиджачке нарисовался он впервые передо мной из тёмного угла, поднявшись с напольного матраца. Потом мы весёлой компанией расположились выпивать на кухне. Слышал я о его подпольной поэме «Москва-Петушки», посвящённой «первенцу» Вадиму Тихонову – этому самому Вадимчику, к которому мы пришли, но саму поэму не читал. Грабчук обещал дать почитать, но пока не получалось. Игорь считал Ерофеева выдающимся писателем и с ходу начал расшаркиваться перед вернувшимся с заработков из Средней Азии сочинителем. «Венечка, Венечка! А как ваш «Шостакович»? Венечка (я его в лицо так не называл – я обращался к нему «Венедикт», ибо он меня старше на целых четырнадцать лет) пятернёй расчесал спадающие на бок длинные волосы, отряхнулся, выпил залпом стакан портвейну, затыкнулся беломориной, приняв безмятежно-спокойный вид. Кажется, его заинтересовало, что на филфак я приехал с Дона – ведь он тоже приехал издалека, поступив на филфак с Кольского полуострова, но учился у нас недолго. Он был пластичен и мог себя подать. И загалдели, загалдели. Авдиев подошёл с тяжёлой от вина сумкой, и я попробовал вставить слово – похвалить недавно прочитанный в самиздатском журнале этюд Ерофеева о Василии Розанове. «Ерофеич их всех уроет! Дерзай, Ерофеич, твори! Кто, кроме тебя, продолжит эту... литературу нашу грёбаную, русскую, великую!» – замасленный Тихонов брал бразды в руки, становясь председателем пира. Вот он потряс снятой с дверной ручки красной матерчатой авоськой и выдал тираду, что в этой вот никчёмной сетке хранилась рукопись бессмертного романа «Шостакович», но теперь её нет. «Где же она?» – спросил Грабчук. «Потерялась, найдётся», – меланхолично отреагировал Венечка.

Он пьянел, но сохранял ровную связность речи, артистично подпуская матерок. Оборотился в мою сторону и пытаюсь вспомнить, что перед ним за юнец с филфака, стал излагать историю с написанием своих заметок о Розанове. «Говорят, Ерофеев не патриот – я ещё какой патриот! Володю Осипова в этих делах не проведёшь...» История заключалась в том, что издатель национал-патриотического самиздатского журнала «Вече» Владимир Осипов запер Ерофеева под ключ, никуда не выпускал, приносил курицу и еду и пообещал хорошо угостить напитками лишь после того, как автор выдаст готовый продукт. Сработало. Очерк о Розанове у Ерофеева получился.

Эти люди всё выворачивали наизнанку, балаганили и открыто презирали официоз – и литературный, и житейский, опираясь на придуманную Ерофеевым алкогольную философию. Венедикт с *первенцем* Тихоновым большие хохмачи и приколышки, по Москве они и теперь выступают. Философия их такая: прийти в дом вроде как на литературное чтение, выпить на дармовщинку, поговорить о высоком, а под конец руками шута Тихонова или ещё

кого-нибудь устроить скандалчик. То есть стянуть со стола скатерть с вином и закусками, встать в позу, сгустить социальные мерзости, хлопнуть дверью перед обуржуазившимися хозяевами: вольные бродяги, свободные художники, мы вам не чета. Хохмачество, в придачу к выпивке. Обязательно, чтобы была выпивка, – бесконечная, с розыгрышами, карнавальная.

Галдели они, галдели, притихли. Ерофеев завёл литературный разговор: Николай Гоголь, Иван Тургенев, Николай Некрасов... И потом снова захлёб хором: о славном городе Владимире, с которым все они были связаны, о том, как Венедикта турнули с филфака, как его, гонимого бесприютного бродягу и странника, навещали Сергей Аверинцев и Борис Успенский. У них начинался междусобойчик, и Грабчук потянул меня за рукав: мол, пошли, а по дороге стал рассказывать, что Веня без документов, без паспорта, всё потерял, что за ним след...

– Могли накрыть.

– А нам-то что с тобой, нам-то что – мы с документами. Да и что мы с тобой за козаки, когда бы устрашились? – добавил Грабчук, не ссылаясь на Хому Брута.

А Тихонов сел мне на хвост, разыскал меня в общежитии, не знаю как, когда я приболел и валялся в койке с температурой. «Надо бы полечиться», – говорит. У меня было немного денег – он всё у меня выскреб на портвейн. Тут же, у одра, распивали. Серж подсаживался, но вскоре ушёл – у него на уме девки; Юрочка пофыркал недовольно – он занимался, тоже встал и ушёл. Тихонов толок-толок воду в ступе, у меня поднималась температура, я осоловел и не помню, как он исчез с последними моими деньгами, хотя намеревался на мои же гроши дальше меня угощать.

Доскажу, что помнится в этой связи.

У Грабчука приближалась свадьба, и месяц был свадебный – октябрь, захолодало. Игорь говорит: надо последний раз перед свадьбой гульнуть (никакой свадьбы в результате у них с Леной не было – просто расписались, взяв свидетелем одного нашего общего друга), поедем в Медведково, там компания. Поехали по осенней погоде на окраину: две сестрички-сибирячки подают закуску и выпивку. То есть они были не медсёстры, а настоящие сёстры, то ли снимавшие двухкомнатную квартиру, то ли ею владевшие. Все, и сестрички тоже, вьются вокруг неподражаемого Венички, – там его культ, который Ерофеев, с его артистическим обаянием, умел поддержать. О произведениях Ерофеева судачили постоянно, но в каком-либо виде увидеть их было невозможно. Я не случайно гордился тем, что имел экземпляр машинописного «Вече» с ерофеевским этюдом «Василий Розанов глазами эксцентрика», который мне перепал на даче одного подпольного художника. Все свои произведения, и в машинописи, и изданные на Западе и ему кем-либо переданные, Ерофеев терял, забывал по ночёвкам или в транспорте: он был принципиально бездомен и безбытен. Писатель-бродяга. И вот снова бесконечно мусолили, где он мог потерять рукопись «Шостаковича», была ли она действительно в той красной авоське, а, может, у Игоря Авдиева, в какой авоське, в какой сумке, а не видел ли её кто у Свиридкина...

Пьянка на сей раз была затяжная, начавшая до нашего с Грабчуком приезда. Они с Ерофеевым пообсуждали любовную лирику римских поэтов, писатель-собутыльник высказывал осведомлённость, но Игорь женился и к ночи уехал, а я, изрядно выпив, остался. Сестрички, повизжав, заперлись в своей комнате, в наличии остались Ерофеев, Тихонов и я. Тихонов сопел в углу на топчане, Веничка валился со стула, кое-как я помог ему дойти до того топчана и лечь рядом с первенцем, сам же отправился на кухню, ближе к воде из-под крана, и, подложив под голову куртку, лёг прямо на пол. И ведь уснул, попил водички и спал. Проснулся на чужой кухне, когда в окнах брезжил серый рассвет и подивился, что сестрички уже успели помыть посуду. Квёлые приятели решали проблему опохмелки. Мы наскребли вкладчину немного денег. Тихонов отправился искать – вероятнее всего было взять водку у таксистов, магазины были ещё закрыты. Ерофеев отрешённо возлежал на топчане, время от времени произносил строчки из Северянина, а я листал попавшуюся под руку хрень. Вышли из своей комнаты

сестрички, миролюбивые, свежие. Веня встал, пробовал острить на предмет их завлекательной интересности, они захихикали, разогрели чай. Тихонов вернулся с винными бомбами. Сестрички сообразили закуску, подсели. Слово за слово, всё больше про Сибирь: де, хорошая Сибирь сторона, пока окончательно очнувшийся и активизировавшийся Веничка не спросил публику, читали ли мы Джозефа Конрада. Тут, после второго или третьего стакана, я понял, что чокнусь с ними, что пора оставить их двое на двое и тикать. Я пробрался к двери и вышел в свежее, после прокуренных комнат, осеннее утро на пустынный двор московской окраины.

Вот ведь что интересно: живого писателя не раз видел, говорил с ним, пьянствовал, укладывал спать, а так до сих пор и не прочитал «Петушки». Там, как рассказывают, Веничка безуспешно пытается подойти поближе к Кремлю, чтобы увидеть его, – так и у меня с его книжкой: обещают, а всё не дают. А надо бы почитать. Говорят, что Веня обозначил свои «Петушки» как поэму. И правильно: душа у него поэтическая, человек он нежный. Я успел это почувствовать.

На ту пору занемог мой учитель и наставник в университетской жизни Николай Григорьевич и не показывался на семинаре. Купив яблок, я поехал в сторону Пироговки и долго искал нужный корпус среди массивных больничных строений. Николай Григорьевич лежал в отдельной палате и, кряхтя, поднялся, чтобы сходить по надобности. Подают ли здесь утку, я спрашивать не стал. «Послушайте, что я вам скажу, – начал он свою речь. – Если со мной что случится, не бросайте науку, не уходите с кафедры. Я говорил заведующему о вас, что вы у меня намечены в аспирантуру. Думаю, он поможет. Мы в филологии одна семья, не будет семьи – не будет науки. Науку не предавайте. Больше читайте Поливанова и Бодуэна, можно почитать „Философию имени“ отца Сергия Булгакова, но не читайте вы Солженицына, не подставляйтесь»...

– Николай Григорьевич! Да я...

– Знаю, читаете! Я вас защитил тогда, когда мне сказали, что вы в чёрных списках, велел, кому надо, чтобы вычеркнули. Не надо вам больше этого. Штрафбаты, – он пишет. – Какие штрафбаты! Мы первые шли, нас и косили! Не читайте! – про штрафбаты он говорил слово в слово, как мой отец, такой же израненный фронтовик.

– Николай Григорьевич! Кто вам наговорил? Ничего я не знаю про эти штрафбаты. Вы не волнуйтесь по-пустому. Выглядите хорошо, подлечитесь и ещё сто лет проживёте.

У него было волевое открытое лицо, и он, когда произносил что-либо существенное, начинал двигать нижней челюстью для впечатления. Он меня действительно защитил на втором курсе, проведая о моём присутствии в таинственных чёрных списках, куда вносили неблагонадёжных студентов. Грабчук подтверждал существование списков, и одно время мы стали осторожнее с антисоветской литературой, но ненадолго. Кто же мог ему сказать? Ничего такого особенного из Солженицына, кроме «В круге первом», я ещё не читал – «ГУЛАГ» пришёл потом...

До меня дошло, что никто ничего не говорил моему наставнику, а что он сам всё вычислил и предупредил. Заботился обо мне, чтобы меня не выгнали с факультета. Бог весть, почему так бывает, но ведь бывает: кому, казалось бы, я был нужен в этой Москве, а вот – и обо мне думали. Николай Григорьевич был ко мне незаслуженно добр.

На факультете была у меня приятельница Олечка – она и теперь есть – письмо от неё пришло. Оля была влюблена в Грабчука, бегала за ним, а он от неё; всё она у меня про него выпрашивала, и про его предстоящую женитьбу я ей рассказал. Олечка – божий одуванчик, деревенская, из северной деревни Крутая Гора; маленькая такая, аккуратная, чистенькая, очень по-русски хорошенькая. Она занималась палеографией и знала всё, что происходит на факультете. Как-то раз той осенью вышли мы с ней из нашего корпуса на улицу, и она рассказывает про скандал с одним пятикурсником, известным по факультету красавцем: его посылали на стажировку в Швецию, а теперь шьют провоз валюты, но доллары ему подкинули – это провокация, и кто-то его заложил – всё в таком духе. Тут Грабчук. Он Олечки обыкновенно сторонился,

но в этот раз деваться ему было некуда. Слово за слово, стал рассказывать про Исаича: что, мол, сгущаются тучи. Олечки он не опасался – проверенная. Говорит, говорит, и раз – подходит Зотов и здоровается с ним за руку. А он не останавливается, всё говорит. «Про кого это вы рассказываете, Игорь?» – «Про Солженицына. Слышали, может, Миша, о таком писателе». Зотов кивнул головой со знанием дела: «Кажется, дело идёт к его новой посадке». – «Да вышлют они его, Миша, вышлют! Испугаются сажать» – «Кого испугаются?» – «Запада, кого же ещё».

Я потом Игорю попенял, что он не затух: кто его знает, этого Зотова, хоть он и хвастает знакомством с Генрихом Бёллем. Грабчук призадумался, но отделался присказкой, позаимствованной у Хомы Брута.

Съехал я из общежития ближе к зиме. В самом деле: аспирантура не аспирантура, но заниматься не дают. Серж повадился водить в комнату преферансистов – да за полночь, да с пивом; и хотя я всех их знал как облупленных и иной раз тоже расписывал пульку, но меня это утомляло. Я привык жить один, а в общаге становилось день ото дня бардачней. Я, можно сказать, бежал.

В подвале Мастера

Я вспомнил про запасной вариант: летом мать, в случае уплотнения и неприятностей в общежитии, советовала мне поселиться в Москве у одной пожилой женщины, доводившейся родственницей её подруге; мне дали адрес, это в центре, и рекомендательное письмо к этой самой женщине. Понятно: матери хотелось, чтобы я больше занимался, а не просвистывал дни. Хозяйка жила одна, имела вторую свободную комнату и была не прочь впустить квартиранта за умеренную плату, а родители готовы были платить, лишь бы я учился. Старуха была привязана к нашим местам, откуда давным-давно уехала, и имела намерение впустить лишь постояльца-земляка. Я и был земляк, знаком её родственнице – подходил. У хозяйки были трудности с передвижением, и надо было, по-видимому, помогать с закупками. Подруга матери, тётя Катя, изо всех сил хлопотала, всячески хвалила родственницу, о моём возможном визите она уже ей писала, оставалось сходить.

Вот вышел я из Кропоткинского метро и нашёл улицу Фурманова, больше похожую на переулок. Прежде несколько раз прогуливался по Арбату и по Гоголевскому бульвару, места немного знал. Тут хорошие места, чудесные, можно сказать. Где же этот флигель не флигель, домик в один этаж, без номера, номер, как говорили, указан на большом доме, к которому этот флигель примыкает, почти примыкает, там со двора должен быть промежуток, но с улицы этого промежутка не видно, всё загорожено сплошным каменным забором, как рассказывала бывавшая здесь тётя Катя. Вот, пожалуй, вот, надо обогнуть, зайти со двора... Странноватое, однако, сооружение. Должно быть, строили как складское или под дворницкую.

Я стал на приступок крыльца, позвонил в дверь низенького флигелька, там зашуршали засовами. Дверь открыла быстроглазая полусогнутая старушка в длинной кофте, глуховатая. «А-а, кто?» – спрашивала приветливо. Я говорил громко, называл её Евдокией Семёновной, толковывал ей про себя, про родственницу, про письмо.

– От Кати, ты от Кати. Знаю я. Читали мне. Заходи. Ещё одно письмо? Да она всё уже написала, потом сам зачтёшь, только громче читай, глухая я и не дюже грамотная, расписаться могу, какую квитанцию – разберу, а больше не выучилась. Некогда было. Наташка мне письма читает, когда заходит. Поняла я, заходи. Разувайся.

Я спустился на две ступеньки ниже и понял, что нахожусь в полуподвальном помещении.

– Как она там, Катя? Она ж мне двоюродная. Долго не видались. Я всё собираюсь, а только никак не соберусь. Тут кошка у меня жила, с кем оставишь? Наташка не хотела ездить кормить. Далеко ей – лень, а не далеко. Надо мне поехать к Кате, да с моей спиной как? Не залезу в поезд. Там мамина могилка, отец он гдей-то в Сибири зарыт, не знаем точно где, а мама там. Сколько

лет-летов прошло. Ну, вот, ты тут можешь, стало быть, жить, в этой комнате. У тебя девушка есть? Пригласить посидеть можешь, я не против. Катя писала, что ты смирный, столик у меня, если позаниматься, а дверей между комнатами нет – занавеска, но свет можешь жечь, сколько хочешь, разочтёмся, тут у меня ребята счётчик подкрутят, как надо, у меня свой счётчик. Я засыпаю тут, за ширмой, мне не видать будет свет, слышу я неважно, уборная в прихожей, напротив входной двери, а мыться можешь ходить в Староконюшенский – там душ, я туда хожу, постель ношу в прачечную, а стираю по мелочи дома, картошечки там, тоси-боси, это я сварю, столуйся когда, если понравится. Иной раз, знаешь, скрутит, картошки не выйду купить. Наташка против квартирантов, но я её не слушаю. Это племянница моя, Наташка, – от родного брата, он умер, она раньше жила со мной, с матерью не ладит, теперь замуж вышла, с мужем живут неплохо...

Местоположение мне весьма понравилось, и комната ничего себе – метров пятнадцать, запроходная, с платяным шкафом, с прямоугольным столиком, с высоко застеленной железной кроватью, с гераньками на окнах, выходящих в переулок. Первая комната неправильной формы – там обеденный стол, в дальней нише газовая плита, другой угол, спальный, задёрнут занавеской. Флигель полуподвальный, но не грязно, чистенько и не так сыро, кажется. А вон и туфельки на чьих-то ножках мимо окон прошли, но старушка, уловив мой нечаянный взгляд, быстро зашторила окошки...

Я перевёз вещички, переехал, стал жить в подвале. К студенческой занятости прибавилась необходимость слушать излияния Евдокии Семёновны. Весёлая старушка много для меня сделала, но в первое время существование бок о бок с шумоватой, глуховатой, да ещё и выпивающей хозяйкой, бывало, досаждало мне – и тут выпивай, слушай всякие байки и частушки про Сталина с Кировым. Приглашал в гости Грабчука. Посидели, потрепались, Грабчук затягивал хохлацкую песню: «Вивци, мои вивци, вивци тай отары, хто ж ваш будэ пастыр, як менэ не станэ...» Вивци – это овцы.

Племянница Наташа приезжала редко. Хмурая и высокая, эта молодая женщина была ко мне мало расположена. Случилась как-то компания в лице провинциальных родичей хозяйки, приехавших шумно и расположившихся на напольные ночёвки в первой комнате – я перешагивал ночью через храпящие тела. Куда лучше покупатели Дусиной самогонки в лице художников Саши и Толи, имевших мастерскую впритык к нам, в подвале большого дома. Они занятные ребята, водились с коллекционером Костаки и рассказывали, что их картинки есть в особняке у дипломата Стивенса, на Рылеева, в Гагаринском переулке, то есть в двух шагах от нас.

Евдокии Семёновне шло к семидесяти, но она была деятельна, бодра, и спина её не столь безнадежна – за покупками мне приходилось ходить нечасто. Вкусно готовила, угощала, относилась по-родственному. Послушать у неё было что. В начале тридцатых годов ей удалось отстать от семьи направляемого в ссылку отца, державшего мельницу на наших хуторах, она добралась до Москвы, бедовала, мыкалась, пока не пристроилась в работницы к одному советскому поэту, жившему в писательском доме. Это важно сказать: дом, к которому примыкал флигель, был писательским кооперативом, выстроенным в тридцатые годы. Поэт рано овдовел, в войну, в эвакуации, где-то на Урале покончила с собой его жена, приятельница Марины Цветаевой красавица-армянка, чьи фотографии Семёновна бережно сохраняла. Сама хозяйка оставалась при поэте до конца его жизни, даже возила его на свой родной хутор и показывала, как топят печь киззяками. Она была предана его памяти, а он оплатил ей тем, что выхлопотал ей этот подвал: занимал пост в Союзе писателей и имел связи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.